

**ГРИГОРИЙ
БАКЛАНОВ**

**НА ЧЁРНОМ
ФРОНТОВОМ
СНЕГУ**

**НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ**

На войне как на войне

Григорий Бакланов

На черном фронтовом снегу

«Алисторус»

2008

УДК 355/359
ББК 63.3

Бакланов Г. Я.

На черном фронтовом снегу / Г. Я. Бакланов — «Алисторус»,
2008 — (На войне как на войне)

ISBN 978-5-907149-98-4

Григорий Яковлевич Бакланов – известный писатель и сценарист, один из представителей «лейтенантской прозы». В 1941 году он добровольцем ушел на фронт, воевал в пехоте и артиллерии, участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. Его произведения о войне с большим трудом выходили в советское время; нелегкой оказалась и судьба фильма «Был месяц май», снятого по его сценарию Марленом Хуциевым. Причина этому – тяжелые и горькие эпизоды войны, показанные Баклановым, которые часто шли вразрез с «парадной» историей. В своих мемуарах, приведенных в данной книге, он рассказал о своей юности, бегстве на фронт, как воевали на фронте, послевоенной жизни. Здесь есть масса интереснейших подробностей о событиях, атмосфере довоенного, военного и послевоенного времени. Все написано прекрасным языком, правдиво, без утайки, с болью за страну и народ.

УДК 355/359

ББК 63.3

ISBN 978-5-907149-98-4

© Бакланов Г. Я., 2008

© Алисторус, 2008

Содержание

Детство	5
Школа	9
Дача	10
Год 1939-й	12
Техникум	14
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Григорий Яковлевич Бакланов

На черном фронтовом снегу

Детство

Из нынешнего дня в прошлое смотришь как в перевернутый бинокль: все такое уменьшенное, а многое и не разобрать. Но вот вижу: зима, мороз, снежная улица. Пробежала, пофыркивая паром из ноздрей, по-зимнему лохматая лошаденка, мужик в санях в сене стоит на колеснях, похлестывает вожжами. А вдоль домов, больше – деревянных, идет, оглядывается на себя в стекла... Да, это я иду. Кирзовые голенища только что выданных мне сапог полощутся на ногах, шинель перетянута ремнем, и там, под ремнем, больше складок суконных, чем меня самого. Зато ушанка набекрень. Старушка в платке шла навстречу, остановилась: «Господи, и таких уже берут...» И вытерла глаза варежкой.

Это для меня тогдашнего – старушка, а была она чья-то мать. И когда читаю или слышу «Родина-мать», я вижу ее, а не ту, яростную с плаката времен войны: платок головной откинут на плечи, рука с растопыренной пятерней призывно взметнулась вверх, – «Родина-мать зовет!». И всегда вижу мою мать. Она не провожала нас на фронт, ни Юру, старшего, ни меня: ее уже не было на свете. Но и сейчас, когда я почти вдвое старше ее, она для меня – мама...

Ей было двадцать восемь лет, когда родился Юра. Он был похож на нее и, значит должен был быть счастливым. Я, родившийся через два года, лицом в отца, а назвали меня так же, как звали деда. В двадцать втором году, за год до моего рождения, он зачем-то поехал в Москву и там был сбит машиной, хотя машин тогда в Москве было по пальцам перечесть, а шоферам такси, как рассказывают, шили кожаные куртки как людям редкой и опасной профессии. Но повезли деда не в больницу, а прежде всего в милицию, выяснять обстоятельства, и до больницы уже не довезли. Мне дали его имя, и я теперь как бы продлеваю его жизнь.

Мир был теплым, уютным и незыблемым, пока жива была мама. А как жила она, я не знаю, но, сопоставляя, могу о многом догадываться. Осталось в памяти (со слов родственников), что ее не хотели выдавать за моего будущего отца: приличная небедная семья, пятеро дочерей, сын, и вдруг – неведомо за кого. Никто в Воронеже не знал отца, он был здесь, как говорится, пришлый. И профессии у него надежной, в общем-то, не было, только хорошая голова на плечах. Но этого, сами понимаете, мало, чтобы отдать за него дочь с высшим образованием.

Как все в жизни, в этой нескончаемой цепи, протянувшейся к нам из неведомой дали и уходящей в еще более неведомое будущее, – как в ней все связано: по сути дела, решалось и то, о чем вовсе не думали – быть ли моим детям, моим внукам и внучке или не быть. В этот момент решалось. И мама решила: быть. Она вышла замуж за отца, это отдалило ее от семьи. И сегодня взрослые мои дети, внуки, внучка вряд ли улавливают эту связь времен, не догадываются, когда завязывались их жизни и что от этого зависело. Но это – по моей линии. А есть и линия моей жены. Там тоже все решало одно слово. Моя будущая теща была на шесть лет старше моего будущего тестя, и все могло не состояться: она была красавица с двумя длинными косами, а он даже ниже ее ростом. Но он стал перед ней на колени. Недавно мы говорили с Эллой, с моей женой, о нашей внучке, и жена вдруг сказала: «Как хорошо, что папа тогда стал на колени...» Мой отец никогда ни перед кем, ни перед чем на колени не способен был стать, а таких, кто не гнется, наша жизнь ломала. Потому недолго прожил он на свете, всего сорок лет, и моя мама много приняла с ним муки.

Но вот – зимний день. Мне пять или шесть лет, в доме натоплено, от кафельной печи пышет теплом, за окном мороз, и хорошо из тепла смотреть в окно на белую от снега улицу.

В легких, скользящих саночках проносятся извозчики, покрикивая: «Ей, ей!..» В простоте душевной я думал, что это они так божатся: «Ей, ей...» Но хотелось мне быть ломовым извозчиком. Летом в телегах, грохочущих по булыжнику, они едут с базара, и огромные битюги ступают впереди телег своими мохнатыми ногами. А извозчик в брезентовом фартуке сидит в телеге, свесив ноги, подергивает вожжами. Вот и я хочу так сидеть, свесив сапоги над колесом, подергивать ременными вожжами: «Нно-о!» Или зимой, когда от битюгов валит пар, повалиться боком в сено в санях. Я срочно зову маму: вот такого битюга вы мне купите, когда я вырасту... Даже во втором классе я все еще мечтал быть ломовым извозчиком, и мой одноклассник попользовался этим, за что я, впрочем, на него не в обиде: он пообещал мне добыть настоящий конский хвост, из которого я сплету волосяной кнут, потому что какой же ломовой извозчик без такого кнута? А пока что я относил ему все, что он требовал. Особенно жаль было мне отдавать мой молоток: я еще и плотником хотел быть. Запах свежего дерева, запах стружек – я мог часами стоять и смотреть, как вьется над рубанком смолистая стружка, кольцами катится под верстак. Но делать нечего, отдал и молоток. Наконец он повел меня в проходной двор, у поленницы дров сказал, озираясь: здесь! Мы чуть не до земли раскидали чьи-то дрова. Он честно работал со мной вместе. Тут нас заметили, с криками погнались за нами, но я еще долго верил, что он действительно спрятал там конский хвост, я просто не мог ему не верить.

* * *

Мне было одиннадцать лет, когда спасали челюскинцев, пассажиров и команду затертого во льдах парохода «Челюскин». Предварительно они сняли с дрейфующей льдины полярную станцию Отто Юльевича Шмидта, и вот теперь вместе погибали: пароход тонул, они спешно выгружались на лед. Спасли их летчики. Ляпидевский, Леваневский, Водопьянов, Молоков, Каманин, Доронин, Слепнев – эти полузабытые ныне имена полярных летчиков гремели, их знали все. Для них, первых, ввели звание Героя Советского Союза. И многие мальчишки того времени мечтали стать полярными летчиками, я – в том числе. По радио пели величаво-протяжно: «Дрейфующей льдиной зате-ор-тый, отважный «Челюскин» погиб...» И о спасателях – поименно: «Там был Михаил Водопьянов, Каманин, Доронин, Слепнев...» Это – по радио, телевидения еще не было. А по дворам – на мотив блатной «Мурки»: «Здравствуй, Ляпидевский, здравствуй, Леваневский, / Здравствуй, лагерь Шмидта, и прощай, / Вы-то потопили пароход «Челюскин», / А теперь кричите – вас спасай...»

Но что бы там ни пели по дворам, это был подвиг и всенародное торжество, сравнимое разве что со встречей Юрия Гагарина. Кинохроника запечатлела, как торжествовала Москва, как чествовали героев. Случайно ли это? Не так давно прошла коллективизация, следом – голодомор, когда на Украине, на Кубани, в центральных черноземных областях вымирили целыми деревнями, селами. Сколько погибло тогда людских жизней – бог весть, вряд ли это узнается когда-либо, но считают сейчас, что вымерло от голода не менее семи миллионов человек. А хлеб между тем везли за границу, покупали станки... После всего этого стране нужен был праздник, небывалое торжество, которое способно было многое стереть из памяти.

Недавно я разговаривал с пожилым человеком, который в ту пору был ребенком, но ребенком одного из высокопоставленных людей, имевших прямое отношение к челюскинской эпопее. И он рассказывал, как его и еще нескольких мальчиков повезли отдохнуть в Форос и как на степных станциях стучались в вагоны опухшие от голода дети, а другие уже не могли идти, в последней надежде ползли к железной дороге.

В Форосе вкусно, хорошо кормили.

Ни в детстве, ни в школьные годы я не писал стихов, хотя многие мои сверстники переболели этим, как болеют корью в определенном возрасте. Впрочем, и в дальнейшем поэзия не потеряла от меня никакого ущерба. Наверное, я инстинктивно чувствовал то, что Толстой

определил словами «идет мужик за сохой и приплясывает...» Но в пятом или в четвертом классе прочел я роман Степана Злобина «Салават Юлаев», и мне тоже захотелось написать что-то подобное. И написал: «Мы сидели у дороги и ели бешбармак». Ни у какой дороги я не сидел и что такое бешбармак, понятия не имел. На этой первой фразе все благополучно закончилось на многие годы. Но даже к слову «писатель» я относился как к чуду из чудес. У отца была большая библиотека, тяжелые тома: Шекспир, Шиллер, кожаные с золотом корешки, картинки, прикрытые тонкой полупрозрачной бумагой. Разумеется, были и в Воронеже писатели, давно когда-то были: Никитин, Кольцов (про Платонова, Мандельштама, Замятина слыхом не слыхивали). Был в Воронеже даже Кольцовский сквер, и девиц, что там шивались, называли «кольцовские», смысл этого – вполне определенный. А встретить живого писателя наяву для меня, наверное, было равносильно тому, что встретить живого Гоголя.

Французы говорят: коза щиплет траву там, где она привязана. Видимо, по этой причине дети нередко наследуют профессии отцов, даже не имея к тому большой склонности. В моей родословной, известной мне, как-то не проглядывается ни колышка, ни обрывка той привязи. Впрочем, это не значит, что их нет. А вот рассказывать я любил. В то время ходили по рукам тоненькие бумажные книжки – не книжки, так, что-то подобное: яркие гляцевые обложки, на них изображено нечто злодейское. Прочел я их несметное множество и любил рассказывать ребятам во дворе: и то, что прочел, и то, что по ходу рассказа придумывалось. Ребята просили, собравшись, да и меня самого просто распирало. Но вот на фронте этого желания у меня не стало, разве что в долгой обороне или когда отведут в тыл и случится хорошее застолье. Свидетельство тому – фотография нашего комбата Филиппова, подаренная на память, надпись на ней, где среди прочего он упомянул: «...и твои смешные рассказы». Значит – было. Нас тогда отвели с фронта, стояли мы в деревне, в тылу: ремонтировали тракторы, то есть из одного нашего трактора и трех-четырех брошенных после немецкой оккупации на дворе бывшей МТС (машинно-тракторной станции) собирали один годный. И шла через деревню санинструктор какого-то другого полка. А у нас банька истоплена, это же на фронте раз в жизни бывает, если бывает вообще. Самогону нагнали. Она тоже попарилась, жаловалась: голова болит. Болит не болит, комбат на это не посмотрел. И заразился от нее совсем не тем, чем случается заразиться в подобных обстоятельствах: заразился он сыпным тифом – первый и последний случай за всю войну в нашем полку. Его увезли в госпиталь, и больше мы его не видели. А фотография его у меня как свидетельство. Но все-таки больше я любил на фронте не рассказывать, а слушать. Самое сокровенное рассказывали перед боем, словно почувствовал человек, что бой этот для него последний. А может, и правда почувствовал. Мне, случалось по виду, по лицу определить, что вот его нынче убьют. И сбывалось.

* * *

Отец мой, Яков Минаевич Фридман, происходил из бедной многодетной семьи, он рано ушел из дому, начав работать с двенадцати лет. Всему, что он умел и знал, он выучился сам. Но за сорок лет своей скоротечной жизни прочел несметное количество книг.

Вижу: вечер, отец ходит из угла в угол, насвистывает арию Каварадосси. Задумавшись, он всегда насвистывал эту арию. О чем он думал? Я был мал и глуп, не о чем ему было со мной разговаривать.

Отец умер, когда мне было десять лет, Юре – двенадцать. Мама, зубной врач, работала на конфетной фабрике в здравпункте. Слово это звучало тогда обычно, привычно: здравпункт. Что она там получала, можно себе представить. Но нам жилось хорошо и вольно: мама целый день на работе. Она приносила с фабрики подсолнуховые семечки, очищенные от шелухи, мы ели их горстями, угощали ребят во дворе. Приносила мутноватый кисель, им, помимо прямого назначения, хорошо было клеить танки из бумаги: тогда одолело нас повальное увлечение –

играли в солдатики. Мне досталась японская армия: все хорошие армии – русская, английская, французская – были уже разобраны, и мне досталась японская. Но зато мои солдатики были меньше ростом, в них трудней было попасть из трубочки, и я выигрывал многие бои. И остался у меня в памяти с тех пор запах пеклеванного хлеба, такой только в Воронеже до войны пекли, больше нигде не встречал: круглые хлебы, верхняя корка, как обливная, разрежешь, а он ноздреватый, будто сыроватый чуть-чуть. И если вдруг с маслом да посолить...

Жили мы на Плехановской улице в шлакобетонном доме, он так и назывался: шлакобетонный. Маме от фабрики дали там комнату на втором этаже, над аркой; зимой пол в комнате был холодный, помню это хорошо, потому что на полу мы с ребятами играли в солдатики. Прежде здесь помещалась какая-то контора; когда мы въехали, пахло окурками, чернильные пятна на полу, а стены на уровне спин сидящих людей затерты до черноты. Со временем мама решила сделать ремонт. Нанять маляра было дорого, и вдвоем с помощницей мама белила потолок, красила стены клеевой краской, выбегала на улицу вытрясать вещи, раздетая, потная, и простыла: стоял холодный ноябрь. Я вижу шею ее, худые ключицы, слышу, как она дышала. Рука мамина горячая поверх одеяла. Когда я заболел, она гладила меня по голове, по лицу, и все проходило. Мама сама поставила себе диагноз: воспаление легких. Потом – отек легких. Вот тогда впервые в жизни я молился: в темной кухне, стоя на коленях, прижавшись лбом к батарее парового отопления, на которой сосед сушил валенки. Мама сгорела за шесть дней. Нас взяли к себе ее сестры: Юру взяла Мария Григорьевна. У нее две дочери, младшая, Юдя, его ровесница. Меня взяла Берта Григорьевна. У нее тоже было двое детей: сын – старший, ровесник моего брата и тоже Юра, дочь – моя ровесница и тоже Юдя. В нашей когда-то многолюдной семье имена часто переходили по наследству, и сестры не случайно назвали своих дочерей одним и тем же именем: так звали их рано умершую сестру – Юдя, Юдифь. В девятнадцатом году грипп «испанка» выкосил, как считают, двадцать пять миллионов человек. Она поехала менять вещи на хлеб и заболела этим гриппом.

Школа

Я еще застал в школе старых учителей. Антаева преподавала математику, она говорила мне: «Ты по математике успевать не будешь, я учила твою маму, она тоже у меня по математике не успевала...» И действительно, контрольные работы я, как правило, списывал, чаще всего у моей одноклассницы. О ней мой рассказ «Надя» из серии невыдуманных рассказов, изменено только имя.

Спустя много лет после войны попал ко мне старинный альбом. На крепком коленкором переплете – тиснение: «Выпуск Воронежской Мариинской женской гимназии 1909-10 г. Фото – Ясвоинь». Виды старого Воронежа, теперь его уже нет, он был разрушен в войну, как Сталинград. Здание гимназии. Благородный директор с бородой, похожий скорее на директора банка. Учителя. Антаева среди них. А имени-отчества ее не помню. В овальных рамках – фотографии выпускниц: Никитина, Небольсина, Скрябина, Филиппова, Егорова. А вот фамилии, которые я никогда больше не встречал: Адливанкина, Сацердотова, Ободынская. И – фотография моей мамы. Такой она была в девичестве, когда окончила гимназию: стоячий с белым кружевом воротничок, черный бант на затылке. А впереди – вся неведомая, непредсказуемая жизнь. И в эту неведомую жизнь, в XX век, напутствие вытиснено на обложке альбома: «Благодатна всякая буря душе молодой. Зреет и крепнет душа под грозой». Могли ли они предвидеть, какие бури грядут, что зреет? Старое доброе мирное время... Так говорили в Воронеже о том минувшем времени – до всех войн, до революции. Шкуро, Буденный. Белые, красные. Воронеж переходил из рук в руки. Когда кто-то с кем-то сражается, несчастней, беззащитней всех мирные жители, обыватели. «Белые придут – грабят, красные придут – то же самое...»

Да если б только грабили. А то и жизнь выдернут вместе с потрохами, голову смахнут с плеч и не оглянутся. На войне нет хороших, кто был хорошим, озверел: такое это зверское дело. Он курицы резать не может, сердце доброе, а человека убить для него ничто. Но нам, мальчишкам, все мнилось скакать, махать шашкой, Чапаев в бурке за плечами скакал перед глазами у нас. Об одном жалели: опоздали родиться, все главное уже совершено до нас. И это каким-то странным образом уживалось с тем, что я любил Чехова, Шолом-Алейхема, прочел и как будто понял «Преступление и наказание». Но самой любимой моей книгой, самой дорогой для меня был «Хаджи Мурат» Толстого: синий с серебром переплет, запах коленкора, не помню, сколько раз перечитывал ее. Книгу эту подарили мне ко дню рождения, когда еще мама была жива.

Есть у Чехова рассказ «Сирена». После заседания судьи собрались в совещательной комнате, закончить дела да и ехать домой обедать. И тут, в предвкушении, секретарь суда начинает рассказывать, что и как следует есть и чем после первой рюмки закусывать. И, побросав дела, все разъехались по домам. Вот так однажды после уроков (а учились мы во вторую смену) я испытал «силу слова». Шли мы вечером гурьбой по Воронежу, то одного проводим, потом он провожает нас, проводим другого, опять он всех провожает, и никак не можем расстаться. А мне надо домой, да и есть хочется. Тогда я начал рассказывать про блины. И произошло то же самое, что в рассказе «Сирена». Я еще удерживал, торжествуя: обождите, я недосказал!.. Разбежались все.

Дача

Мне было четырнадцать лет, когда мне поручили снять дачу на лето. Как пришла такая мысль взрослым, не могу сказать, но мне дали деньги, чтобы я снял дачу и оставил задаток. И я поехал на поезде в Сосновку. Сосновка, Дубовка, Графская – все это под Воронежем. В Сосновке на песчаной почве росли корабельные сосны. В Дубовке – дубы. Но таких дубов, как под Задонском – нет, не раскидистых, а прямых, стройных, – таких я не видел нигде. В свое время Петр I строил здесь флот, за двести лет после него выросли новые леса, но было кому их проредить.

Самое интересное, что и хозяин дачи всерьез разговаривал со мной, показал две комнаты с террасой. «На террасе, возле конопляника...» Скольким поколениям диктовали этот пример по грамматике, и надо было не ошибиться, знать, где пишут два «р», где одно «н»... Мы обо всем договорились с хозяином, я оставил ему задаток. На станции, пока ждали поезда, мужчины стояли в очереди в буфет. Красное вино было разливное, у вина было два названия: белое и красное. Белое – водка. Я тоже стал в очередь, очень опасался, что буфетчица прогонит меня с позором. Но нет, налила мне полстакана красного вина, не прогнала. Я выпил, будто мне это дело привычное. Вино было кислое, радости я не испытал, но почувствовал себя взрослым: сделал дело и выпил как полагается.

Почему я помню, что было мне четырнадцать лет? Потому что в газетах в то время печатали сообщения о процессах, фамилии подсудимых, гневные отклики трудящихся, требовавших раздавить гадину: был 37-й год. Но это шло мимо меня. Родителей у меня не было, от такого испытания судьба уберегла их.

Вот туда, на дачу, когда все съехали осенью, а я еще остался на день-два сторожить вещи, приехал ко мне мой старший брат Юра: наверное, пожалел меня, что я тут один. И зашел у нас разговор о процессах, об этих судилищах. Разница между нами была два года, но Юра был старше своих шестнадцати лет, он многое понимал. И попытался объяснить мне, что происходит. А я вдруг вспыхнул дозволенным гневом, гневом раба, я уже впитал это из отравленного воздуха, которым мы дышали:

– Случись война, ты на фронт не пойдешь. Такие, как ты, не идут умирать за родину.

Это – брату родному, единственному.

В Московском государственном университете, на историческом факультете, где он проучился всего один год, – мраморная доска, имена тех, кто погиб в Отечественную войну. Там его имя: Юрий Яковлевич Фридман. В мирное время его не взяли в армию, хотя после позорной финской войны хватали и калечного и увечного: кончил школу – будь добр. Но он почти не видел одним глазом, запойную страсть к чтению он унаследовал от отца и основательно испортил зрение. Началась Отечественная война, он пошел в ополчение, был командиром орудия, 75-миллиметрового французского орудия времен Первой мировой войны: ополченцев вооружали последним, что оставалось, на такую войну они шли фактически безоружными. Два или три письма получил я от него с фронта, в дальнейшем и они пропали вместе с полевой сумкой, когда меня ранило под Запорожьем, в ней я носил самое дорогое. С моим другом Димой Мансуровым мы хотели бежать к Юре на фронт, в его 975-й артполк: наш год еще не призывали. Я написал ему, спрашивал, где их искать? Он успел ответить, это было последнее его письмо, я получил его, когда Юры уже не было на свете. Он советовал нам идти в военное училище. Он видел, что происходит на фронте, не хотел, чтобы и мы попали в страшную мясорубку первых месяцев войны, оттуда он спасал меня.

Только через сорок лет после войны я узнал, как погиб мой брат. Журналист «Известий» Элла Максимова собирала сведения об ополченцах, о московских студентах. Она узнала о человеке, который был с Юрой в одном полку, написала о нем, и мы с этим человеком встре-

тились у меня дома. 1985-й год, ему шестьдесят четыре года. Столько было бы и Юре. Они вместе выходили из окружения, октябрь месяц сорок первого года. Вброд перешли реку Угру, сосредоточились в лесу. Надо было узнать, есть ли немцы в ближней деревне. Юра, а с ним еще один ополченец, тоже студент, вызвались пойти на разведку. Вот так они погибли. А остальные ночью вышли к своим. Человек, рассказавший мне это, с тех пор больше не воевал.

* * *

Немногим больше знаю я о моем двоюродном брате, о Юре Зелкинде, им обоим посвящена первая моя повесть о войне «Южнее главного удара». Он был студентом философского факультета ИФЛИ (Института философии, литературы, истории). Этот институт в свое время закончил Твардовский, многие известные люди были его выпускниками. После войны ИФЛИ был закрыт.

Юра Зелкинд носил ботинки тридцать седьмого размера. В августе 41-го года он вернулся в Воронеж: на дальних подступах к Москве они рыли окопы, противотанковые рвы... Спина его по позвоночнику, вся поясница были изъедены вшами. Семья врача. Связи в этом мире. Но он сказал: «Мама, мои товарищи идут на фронт». И мать не стала удерживать его, потом она простить себе не могла, что не удержала его, я слышал, как она однажды сказала: он женщины еще не целовал ни разу. В мае 42-го года я писал ему с Северо-Западного фронта: ваш фронт наступает, скоро и мы... А его уже не было в живых. В мае 42-го по приказу Сталина началось наше гибельное наступление на Харьков, оно открыло немцам дорогу на Сталинград. Здесь, на юге, немцы сами изготовились к решающему наступлению на Волгу и на Кавказ, сосредоточили огромные силы, Жуков предупреждал об этом заранее, но Сталин, великий наш стратег, боялся нового наступления на Москву и приказал нанести здесь отвлекающий удар. И немцы, удерживая фланги, пропустили наши войска узким фронтом почти до Харькова: туда, в мешок. Когда явственно нависла угроза окружения, Хрущев звонил с фронта, еще можно было спасти положение, отойти, но Сталин не подошел к телефону, он своих решений не менял. И кольцо окружения замкнулось. Сообщали тогда, что осталось в окружении девяносто тысяч человек, но было там гораздо больше. Первый Краснознаменный стрелковый полк, в котором служил Юра, из окружения вырвался. Но их снова бросили в атаку, встречно прорывать кольцо. В атаке Юра был убит. Его однополчанин видел это и в дальнейшем рассказал матери.

И вот – совпадение: в октябре 43-го года, в ночь перед наступлением на Запорожье, сидим мы в землянке командира роты. И вдруг узнаю, что это тот самый стрелковый полк, в котором служил мой двоюродный брат, но только теперь он называется по-другому: под Харьковом они потеряли знамя в бою, и полк был расформирован и переименован. Командир роты здесь недавно, он только что из госпиталя, но начальник штаба их батальона был тогда под Харьковом, он мог знать Юру, что-то бы рассказал. Однако на следующий день меня тяжело ранило.

Ни у одного из моих братьев, павших смертью храбрых, ни у родного, ни у двоюродного, нет могилы. Как нет могил у тысяч и тысяч, у миллионов, отдавших свою жизнь за родину. «Конец войне, да помянут живые великих мертвецов моей страны...» Не помнят, забыли, от Волги, от Москвы до самых границ и дальше остались они, непохороненные. Народ, который способен забыть тех, кому обязан жизнью своей и будущим, обречен на многие бедствия.

Год 1939-й

В этом, в 39-м, году меня на месяц отправили в Москву к младшей тетке, к Фриде Григорьевне, она была похожа лицом на мою маму. Профессия у нее была не часто встречавшаяся тогда: стенографистка. Ее приглашали на разные высокие совещания, однажды на таком совещании присутствовал Сталин. От нее я впервые услышал слова: «наркомат», «местком», но представлялось мне по звучанию слов совсем не то, что они означали.

В ту пору (я говорю о начале 30-х годов) еще живы были отец и мама, и с нами вместе, в Москве, на Донской улице, жила Фрида, молодая, незамужняя, очень я ее любил. Она вышла замуж, в тридцать восьмом году мужа ее, бухгалтера, арестовали, срок – десять лет. В огромной общей квартире в Обыденском переулке ее, жену «врага народа», сразу переселили в самую крохотную, пяти- или шестиметровую комнатку, и маленький ее сын засыпал под стук пишущей машинки, а она многие годы спала по три, по четыре часа в сутки, но все десять лет посылала мужу посылки. Любви между ними, как я понимаю, не было, но была порядочность, был долг. После войны его выпустили, а вскоре вновь забрали: всех, отбывших десятилетние срока и выживших, везли домучивать. И вновь – посылки, вновь – ночи напролет за пишущей машинкой, а во время войны, в эвакуации, зимой, не миновал ее и лесоповал. Но какой это был добрый, кроткий человек. Она же и предложила, чтобы меня прислали на месяц в Москву, мол, сирота. Это при ее-то положении. Правда, жил в Москве еще мой дядя, по-домашнему – дядя Мотя: Макс Григорьевич Кантор. Он занимал какую-то ответственную должность на заводе, работал очень много. Своей семьи у него не было, а была многолетняя любовь с замужней женщиной, с Юлией Федоровной, ее муж знал об этом. Тем не менее из семьи она не уходила, не могла: была взрослая дочь, Евгения, Женя, с мужским характером и мужской по тому времени профессией – авиационный инженер-конструктор в каком-то КБ. Кстати, квартиру на Беговой улице, где они жили, дали именно ей, Жене: что-то четыре или пять комнат. Вот Женя ненавидела Макса Григорьевича, и в общем-то ее можно понять. Но не судите да не судимы будете, жизнь сложна. Женя пять раз выходила замуж, разменяла эту великолепную квартиру, разводясь с третьим мужем, а потом он же стал ее пятым мужем и вновь переехал к ней.

Юлия Федоровна была сдержанный, исключительно порядочный человек, все у нас в семье, все Мотины сестры любили ее. Помню ее уже седой, волосы на голове аккуратно уложены, белая выстроченная кофточка, высокий воротничок, черный шнурок-бантик. В 43-м году, после Северо-Западного фронта, после артиллерийского училища, ехал я на Юго-Западный фронт через Москву и одну ночь ночевал у Юлии Федоровны. И это ощущение чистоты, тишины, несмятых, выглаженных для меня простыней, милое ее лицо с поседевшими бровями – долго мне это вспоминалось. А засыпая в ту ночь в чистоте и в тепле, я видел при свете луны из окна огромный до потолка и во всю стену буфет темного дуба с массивными накладными серебряными петлями.

* * *

Но это все – позже, до этого надо было целую жизнь прожить. А пока что школьником отправили меня на месяц в Москву, и я попал в страну чудес: метро, поразившая меня станция «Маяковская»; задрал голову, я стоял и смотрел на самолеты, мозаикой выложенные на потолке. Какими устарелыми, неподвижными выглядят они сегодня. Красная площадь. Сельскохозяйственная выставка. Тут видел я все, что у нас будет, а пока что выставлено в Москве. Породистые быки величиной чуть не со слона, коровы-рекордистки. А ткани какие, кожа невероятной красоты, а какие машины, станки... В Воронеже мы в четыре, в пять утра стано-

вились в очередь за дешевыми конфетами-подушечками, сахара в продаже не было, хотя Курская, Воронежская, Орловская – это те области Центрального Черноземья, где сажали сахарную свеклу. Мы выстаивали очередь за сливочным маслом, давали его в руки по 400 граммов, номер очереди писали чернильным карандашом на ладони.

Повез меня дядя и в Тушино на праздник авиации 18 августа. Тысячи людей, сидя на земле под жарким солнцем, смотрели в небо, а самолеты кружили, переворачивались, делали мертвые петли, пронеслись быстрее мысли, наполняя всех нас гордостью. И никто не подозревал, что в это время уже идут тайные переговоры с вождями фашистской Германии, решаются судьбы нас всех, стрелки часов уже переведены и целые страны разрезают по карте, как пирог. А мы такие веселые ехали с праздника.

Как-то раз дядя попросил подождать его на улице, а сам зашел в учреждение. Люди стояли у газетной витрины. Я тоже подошел. Газета «Правда». Фотография: Молотов и Риббентроп. Сталин в белом кителе. Рядом. Люди смотрели, читали сообщение молча. Молча отходили, как бы не видя друг друга. В дальнейшем, в марте 40-го года, Риббентроп скажет министру иностранных дел Италии Чиано: «Я чувствовал себя в Кремле словно среди старых партийных товарищей». Но все это и узнается, и понимать начнем много позже.

А в тот вечер, раздевшись, а я уже лег, дядя сидел на кровати, босые ноги в тапочках – на полу, свет потушен. Двумя руками взял он складку на животе и, держа ее вот так, сказал: «Думаешь, это хорошо? Нет, это совсем не хорошо...» Он не о складке на животе говорил, он говорил о приезде Риббентропа в Москву и обо всем, что с этим связано, но и это я понял много позже. И еще он сказал: «А Кагановича – ты заметил? – не пригласили на переговоры». Это я заметил. Каганович – еврей, Риббентроп – фашист, мы уже не с позиции силы, даже не на равных вели переговоры, мы подлаживались, играли по их правилам.

Дядя был человек суеверный. Уходя из дома, стоя уже в дверях, он говорил непременно: «Будьте здоровы, до свиданья, всего хорошего». И ждал, пока ему ответят: «Будь здоров, до свиданья, всего хорошего». Без этого он уйти не мог. В 41-м году было ему уже около сорока пяти, на заводе, как я говорил, он занимал солидное положение, за ним заезжала машина, в то время это значило многое. Надо полагать, была у него бронь. Но в первые дни войны он пошел в ополчение, они были в одной дивизии с моим Юрой: Юра – в артиллерийском полку, Макс – в стрелковом полку, санитар. Я не знаю, как он погиб, ничего больше не знаю о нем. Да, был особый нравственный климат в те месяцы 41-го года, когда над страной, над всем народом нависла угроза гибели. И кто-то бежал из Москвы, а кто-то, все бросив, шел защищать ее.

После войны я случайно нашел у родственников стеклянный негатив с отколотым уголком. Отпечатал. В белых летних брюках, в белой рубашке, холеный, крупный, сложив руки на груди, Макс Григорьевич Кантор сидит на краю цементного фонтана, нога в белой парусиновой туфле – на весу, лицо загорелое, курчавые волосы с сединой...

Техникум

В школе у меня было два друга: Алик Небольсин и Дима Мансуров. Димка. И вот в девятом классе, когда нас приходили настойчиво агитировать в военные училища и уговорили одного, Семькина, он пошел в училище связи, Алик вдруг узнает: можно поступить сразу на второй курс авиационного техникума. Два года учебы, и ты – техник, самостоятельный человек. И работать будем здесь же, в Воронеже, на 18-м заводе, на левом берегу реки.

Мои дядя и тетя, у которых я жил, ни в чем не отличали меня от своих детей, и двоюродная сестра, моя ровесница, не просто была мне как родная, а стала родной. И все же мне хотелось скорей быть самостоятельным. Я относительно неплохо рисовал, мог бы по клеткам рисовать портреты вождей к праздникам. Но кто доверит мальчишке такое не просто ответственное – политическое дело? Я писал плакаты на кумаче, в поликлиниках, в учреждениях давали мне разрисовывать стенгазеты, писать лозунги, делал я это легко, а вот приходиться, просить было тяжело, стыдно, вроде – побираюсь. Но, в общем, зарабатывал какую-то мелочь. Разумеется, семья не бедствовала, то, что мне удавалось заработать, в семейном бюджете не играло никакой роли, но мне самому это было важно. Вот говорю: «не бедствовали». Это – так. Но когда купили дяде шубу с каракулевым воротником, это стало в семье событием. Как раз в то время отдали или продали Китаю КВЖД – Китайско-Восточную железную дорогу. И служащие, кавежединцы, так их называли, приехали на родину, в Советский Союз, в том числе – в Воронеж. Несчастные люди, вскоре их объявят шпионами, врагами народа. Один из них продавал почти новую черную ратиновую шубу с черным каракулевым воротником. Ее купил дядя. Это было чудо, а не шуба, такого мягкого на ощупь, толстого, выделанного в елочку ратина я еще не видел, я и слова такого не знал. На моей памяти это была самая значительная покупка в семье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.